

Чужое — дорого. Они верят Троцкому. Он им нужен. Он даст хлеба и мир.

...Солдаты не читали статей и фельетонов Троцкого, они не знают, что Троцкий обманул их.

Что он не всечеловеческий, а свой, из Бахмута или Елисаветграда. Что он не вулкан, а хороший фельетонист. Они не знают Троцкого — газетного, сначала умеренно-пылкого автора «Писем» в меньшевистской «Искре». Потом изящного, речистого, с хорошими манерами Антида Ото из «Киевской мысли» и «Одесских новостей». Того, который был удобен и портативен. И свободно укладывался в нижний фельетон «Киевской мысли». Который не старался дышать лавой, а был очень мил и разговорчив, и не было у него в глазах вселенской пустоты, этого веселого Троцкого — фельетониста.

Вообще, они разнятся характером. Троцкий — революционер и Троцкий — фельетонист. Иногда они даже мешают друг другу.

Бывает, что Троцкий — фельетонист нескромен в отношении Троцкого — революционера.

Недавно в «Известиях» Троцкий гневно осуждал и упрекал всех тех, кто «не хочет уйти в историю» с трагической печатью Робеспьера. Это не по-товарищески. Если Троцкий — революционер жаждет «трагической grandпечати Робеспьера», то зачем Троцкому — фельетонисту об этом разбалтывать.

Ведь от Троцкого — революционера ждали не трагической печати, а мира и хлеба.

## Троцкий

У Намюра ухают пушки. Валлония и Фландрия распростерты в пыли п крови. Воины Бельгии, Тили Уленшпигели двадцатого столетия в серых кепис с вещевыми сумками устало отодвигаются вглубь к Антверпену. Париж молчит, только осенние деревья в Венсенском парке тяжело шуршат.

Последний шум был здесь — грохот выстрела и падающего тела в скромном ресторанчике du Croissant. Это Жан Жорес склонился простреленной широкой старой грудью на мраморный столик: первый борец против сумасшедшей мировой резни, первая жертва ее.

На бульварах жутко громят немецкие магазины. Разбили витрину «Магги» и рассыпали по тротуару бульонные кубики. В палате жужжит оппозиция. Иностранные корреспонденты покупают у уличных Гаврошей ворохи вечерних газет и шлют длинные срочные телеграммы.

Русская эмиграция тоже на ногах.

Большинство обивает этими ногами пороги посольства в поисках виз, паспортов и воинских отсрочек: стадное чувство самосохранения.

Меньшинство, упоенное другим стадным чувством самопожертвования, включается в списки волонтеров, в русский легион, который скоро ляжет костью на берегах Марны.

Есть еще третьи, спорящие и протестующие, четвертые, критикующие третьих, и пятые, пишущие о первых четырех категориях.

Корреспонденции. Впечатления! Горы впечатлений! Дождь впечатлений! Заказные пакеты везут впечатления эмигрантов врусские газеты.

Лучше всех впечатления у Антида Ото. У него наиболее содержательны корреспонденции, наиболее умны оценки, вдумчивы, хотя и стремительны прогнозы.

Читатели от Могилева до Евпатории зачитываются широкими и красноречивыми фельетонами Антида Ото в «Киевской мысли». Они видят наяву, в пестрых и ловко сделанных картинах, в умелых характеристиках и сравнениях всюогромную фабрику войны на Западе. Они ясно представляют, как кипит портовая сутолока в Марселе, как умирают люди на Ипре и под Верденом, как волки когтят в горах альпийских стрелков, как маршируют по французским улицам колониальный поиска.

А сам Антид Ото колесит в это время по всей Франции, перескакивает с поезда на поезд. Он всюду успеваает побывать — энергичный мрачноватый русский журналист, при встречах внушающий французским властям легкое беспокойство. В Булони и в Кале, во Фландрии и в Вогезах, на артиллерийских заводах и в мастерских для искусственных носов.

Антид Ото предприимчив и наблюдателен.

Вот госпиталь в великосветском отеле на Елисейских полях. Антид Ото улыбчиво следит за тем, как «аристократка, жена генерала республиканской гвардии, величественная блондинка г-жа Н., не дрогнув, выполняет самые щекотливые обязанности

инфимьерки, делает солдатам желудочные промывания и, держа в руке сосуд, охраняет *grande air de dignité*, точно героиня классической трагедии Расина». Ему нравится и «профессиональная сиделка Леони, корсиканка, очень красивая мужественной красотой. Надеть ей на голову фригийский колпак, и она могла бы быть образом республики»...

А вот «молодой араб, которого вначале сильно лихорадило и к нему на ночь посадили наедине одну из великосветских сестер. На другое утро она решительно отказалась продолжать этот опыт. Пришлось посадить англичанина-санитара, бывшего циркового атлета, а предприимчивому арабу тубиб (врачиха) погрозила пальцем»...

А вот красивое пятно. «Смуглые головы в тюрбанах торчат изо всех окон и дверей. Форма хаки ярче подчеркивает экзотический тип азиатских солдат, призванных спасти французское побережье от немецкого нашествия»...

А вот англичане у Булони. «Почти из-под каждого синего зонтика наряду с фигурой торговки торчат спина и две крепкие ноги цвета хаки. Вдоль колючей проволоки раздается возбужденное взвизгивание. Несколько десятков шагов по шоссе, и я убеждаюсь, что Булонь выслала на эти передовые позиции цвет своего женского сословия. Но с другой стороны, и англо-саксонская раса представлена здесь как нельзя лучше. Ни следа так называемой английской флегматичности»...

А вот те же англичане играют в футбол: «Англичане мигом сделали стойку и вонзились глазами в мяч. Р-ррраз! капрал хватил по мячу носком»...

— Р-ррраз! — кричит и Антид Ото за футболистами. Ему нравятся спорт, спортсмены и спорт на войне.

Передавая биографию сэра Джона Дентона Пинкстона Френча, «члена знаменитой семьи графства Гальвэй, провинции Коннаут», он с увлечением рассказывает, как Френч под бурскими снарядами, не моргнув глазом, рассуждал с военным корреспондентом о плохом освещении, мешавшем делать фотографические снимки. В этой генеральской бравате Антид Ото видит «военачальника, скрывающегося за лихим спортсменом, за смельчаком, верящим в свою звезду».

Острое, смелое, красивое нравится ему. Большие поступки, интересные изначительные жесты. Он отмечает старого капитана,

умирая, пославшего на смерть и двух своих сыновей, но не забывает и маршала Жоффра, который прибыл домой на Рождество в штатском платье, простой, как всегда».

Его неумной, как сухая губка, пытливости, которая порой палящим жаром прет из строки, нужны новые атрибуты человеческой борьбы. Останавливаясь где-то на биографии Гаврилы Принципа, застрелившего Фердинанда Австрийского, он полупрезрительно замечает, что их «эпоха отходит».

Да, эпоха пистолетных героев отходит в прошлое. На смену грядет новый двенадцатидюймовый железобетонный невиданный героизм. Загадочный корреспондент с беспокойной бородкой ждет и верит в него.

Немногим известен секрет Антида Ото. Только десятка полтора человек, близких к редакциям, знают новый псевдоним Троцкого, прославленного товарища председателя Петербургском совета рабочих депутатов в девятьсот пятом году, героического оратора на собственном процессе, осуществителя двух дерзких побегов из Сибири, одного из опаснейших бунтовщиков довоенной Европы.

Вряд ли знает хоть один человек и даже он сам, как суждено будет применить, использовать и проверить Антиду Ото свои наблюдения и мысли, собранные на французском театре войны...

## 2

Предоктябрьские дни — самая сверкающая, грозная и красивая пора Троцкого.

Демократическое совещание. Предпарламент — последнее торжище февральского сезона. Троцкий, блестящий, застегнутый, язвительный, грозный, пугает, волнует многоречивых политиканов первой Республики. Он чертит на стенах старого Государственного совета грозное «менэ-текел».

В железном зале Народного дома, в цирке «Модерн», на несчетных фабричных митингах сверлит огромную дыру.

Голос ровный, неизбежный, скребущий гвоздем по стеклу, пронзительный, и беспокойный.

Когда Троцкий говорит — это вулкан, изрыгающий ледяные глыбы. Нет, это огнедышащий глетчер!

Октябрь он встречает на позициях. Пулковские высоты, полу-наступающий, полу-убегающий Керенский. Оттуда идут

первые сводки Троцкого с фронтов революции, там отдаются первые приказы. Роковое и счастливое Пулково! Там уединились от мировой сутолоки астрономы, исчисляя бег звезд, но дважды (1917–1919 г.) у Пулковского холма в орудийном грохоте решалась судьба величайших из мировых революций. И оба раза пытал здесь лицом к лицу историческую судьбу Троцкий.

От тихих рабочих кружков и молодых споров Николаева, от первого Петербургского совета депутатов, через ссылку, побеги, эмиграцию, через фельетоны Антида Ото, Барселону и Нью-Йорк привела неразорванная нить сюда, к щедрому руслу «перманентной революции».

### 3

«В Брест-Литовск, — пишет Троцкий, — мы отправились для того, чтобы заключить мир. Почему? Потому, что воевать не могли»<sup>1</sup>.

Было очень душно и тесно в большом бараке, где заседала Брестская конференция. По одну сторону длинного стола, заваленного картами, литографированными чертежами, записками на четырех языках, сидели в ряд шестеро русских.

Кругом — плотным охровым прямоугольником замкнулась сверкающая шеренга орденов, эполет и мундиров; бритые твердые подбородки; резкие застывшие лица, остановившиеся взгляды.

Маленькая кучка штатских приехала в захолустный Брест на мирное совещание с четырьмя неприятельскими державами. Мирное совещание, на котором пахло кровью и смертью больше чем на обстрелянных полях. Мирное совещание, похожее на военно-полевой суд, где четыре чужие неподвижные стены офицеров приговаривали к каторге целую страну, огромный народ, только что освободивший себя.

В Бресте немцы нанесли свой последний удар старой России. В Бресте приняла на себя первый и самый страшный удар вновь рожденная Советская Россия.

Странные, стремительные, прыгающие дни! Они неслись друг за дружкой, единственные, неповторимые, горькие сны, безмолвные предвестники надвигающейся гулкой грозы.

Из Бреста немецкое правительство спокойным хищным зевком показывало железные зубы. Близка была от столицы тяжелая

поступь германских отрядов, уже слышны были трубы завоевателей. Каменная лавина быстро и непреклонно катилась на Восток.

За столом мирной конференции, прижатый плотным полукругом врагов к стене, народный комиссар Троцкий бросал злые, резкие, на всю Европу слышные, звонкие слова:

— Мира не подпишем, войны продолжать не будем!

— Мы не можем поставить подписи Русской Революции под условиями, которые несут с собой гнет, горе и несчастье миллионам человеческих существ!

Европа, притаившись, молчала. В ответ на громкий крик из Бреста в Германии и Австрии начались забастовки, но были утоплены в крови. Гордые революционные фразы отдавались, как в пустыне. Немцы шли неумолимые, как время, неизбежные, как ночь.

И вместо революционных фраз из России, из-за спины Троцкого донеслось тихо, громко, значительно.

— Передышка.

— Передышка! На момент остановить, какими угодно жертвами задержать бездонную гибель. Получить хоть один год отсрочки, чтобы передохнуть, заново собраться с силами. Отвердеть. Уступить врагу в пространстве, чтобы выиграть у него времени.

В немецком «мирном бараке» было темно и безысходно. Выложенные фигуры германских штабных полковников являли своими ликами победавших инквизиторов. Пухлый пожилой кулак генерала Гофмана сжимал цветной карандаш, а позади него сжимала бронированный несокрушимый кулак юнкеро-вильгельмовская, закованная в сталь и презрение Германия.

Худой мир, нищий пир. Похабный.

Но не меч. Крепко стиснув зубы, затаив все яростные непримиримые слова, Революция подписалась на всех листах Брестского трактата. Руки Троцкого не было там.

#### 4

Передышку имела Россия, но не коммунисты, не Троцкий.

Над кипящим созиданием Красной армии работало великое множество крепких рук, горячих и упрямых голов. Оборона революции сбылась только благодаря этому неслышанно-исключительному по общности порыву, деловой горячке, охватившей

тысячи людей. Но создание Красной армии российской неотделимо от имени Троцкого, как имя Троцкого неотделимо от красных войск, обвивших рубежи России.

Троцкий побывал на войне. Он слышал хруст костей в исполинской мельнице. Троцкий был в Бресте, сидел за столом с берлинскими министрами, он многое там понял и чувствовал.

Его беспокойному и едкому уму, самому заостренному и аналитическому из октябрьских умов, были близки стремительные головоломные системы, политические построения, легко перекинутые, как стальные мостки, через самые глубокие и опасные пропасти.

Именно таким, буйно-холодным, скептически-страстным, приехал Троцкий в Брест.

Но ему досталась небывалая, неповторимая историческая роль.

Во дни Бреста, в муках и корчах, извиваясь от боли и отчаяния, умерло одно и родилось другое.

Своими руками завершить империалистическую войну. И своими же, сейчас же, начать войну гражданскую.

Европа с Европой воевала из-за Прирейнской области и рынков, а мы, Азия, распростерли недвижимые тела калужских и вологодских мужиков на чужих полях, чужих стремнинах, чужой сырой земле. Четыре года не могла кончиться сумасшедшая баня. Уже Запад залечил раны, задымил заводами, зазвенел деньгой, расстароговался автомобилями, галстуками и вставными челюстями. России не дали. Опять война. Новая, уже осмысленная, целевая — за право дышать, строить Жизнь. Но опять кровавая, жестокая, истомно-томительная. Калужские и Нижегородские не вернулись отогревать голодные продранные избы. Еще раз, зализав на ходу свежие рубцы, поползли, озираясь, в окоп.

Троцкий привез в литовский городок блестящие, отточенные по последнему слову диалектической техники политические парадоксы, а уехал оттуда со старым, заржавленным, но крепким человеческим законом: хочешь мира — готовься к войне.

## 5

И с этих дней Троцкий, такой же острый и едкий, столь же мучительно, алчуще-настойчивый — в новой, непрерывной, будничной, ни на миг неослабной работе.



Страстно, упрямо, неустанно он организует, формирует, устраивает, направляет, воодушевляет, укоряет, успокаивает, угрожает, не спит, не спит.

Широким огненным кольцом раскинут фронт войны гражданской. Можно руководить войной из центра, предписывать и направлять. Гораздо лучше навещать фронт.

Троцкий не сидит в центре и не навещает фронта. Он всегда на фронте. Его штаб в поезде, в вечно стремящемся безостановочном поезде Троцкого.

Как стрелка на часах, вечно движется поезд Троцкого по огромному кругу битв. И если в каком-нибудь месте страшного круга неблагоприятно, если заминка, неуспех, смятение — значит, там сейчас появится быстрый серый поезд Троцкого и сам беспокойный его обитатель с новыми, всегда настойчивыми и страстными словами, напоминаниями, угрозами.

Донской фронт. Красновы и Каледины<sup>2</sup>. Оренбургские, выгледанные солнцем степи. Дремучие лесу Приуралья. Серая зыбь на Волге. Царицын, Сызрань и Казань, чехословацкая лавина. Враги, смерть, пламя, грохот двенадцатидюймовок. И всюду поспекает бесшумный поезд Троцкого.

Мы думали, еще он на Урале, а он в столице, в Петрограде поднимает рабочих на защиту красной крепости от нападающего неприятеля.

Страстно, упрямо, неустанно ускоряет, формирует, направляет, устраивает, воодушевляет, поднимает смелых, хлещет плетью трусом, угрожает, не спит, не спит, не спит. Превращает дома и храмы в крепости, проспекты, улицы в траншеи, в рвы, в окопы, в бойницы — магазинные витрины.

Мы знали — только что он был в Москве, вчера слышали о нем с деникинского фронта, а сегодня утром в Киеве, не удивляясь ничему, все зная наперед, уже он будит, он доказывает, требует решимости и новой силы. Днем — ныряет в бесконечных трудностях, невыносимых тяготах снабжения и транспорта, рубит узлы междуведомственных трений и конфликтов. А вечером в огромном, до потолка набитом цирке, он учит боевых детей восстания — курсантов быть вождями и борцами.

Быстрыми крупными шагами меряет арену, характерным цепким жестом бросает к ногам слушателей идеи, доводы, настойчивым, скребущим голосом взрезает сразу в ум и сердце, и воображение:



— В грозный час, когда рабоче-крестьянская власть обратится к вам, курсанты, со словами «Социалистической республике грозит опасность», вы ответите: «Мы здесь!» и будете героически бороться и умирать, сражаясь против врагов трудового народа!<sup>3</sup>

Два часа, без передышки, без отдыха и пауз льется, бьется стремительная, как река через плотину, насыщенная трагизмом, силой, тревогой, иронией, лекция-проповедь-импровизация Троцкого к четырем застывшим ярусам.

Поздним вечером расходятся домой тысячи красных офицеров, взбудораженных потоком мыслей и образов. А в ту же ночь, порывисто дыша клапанами и поршнями, все дальше уходя от сонной столицы, торопливо гремя на стыках рельс, нащупывает во мгле фонарями дорогу на Фронт большой паровоз поезда Троцкого.

Вдоль дороги бегут рядом с поездом желтые отблески от поездных окон. В одном из вагонов набирают и печатают походную газету «В Пути». В другом, за письменным столом высокая беспокойная фигура засиделась до глубокой ночи.

## 6

Был гениально неправ Троцкий в большом споре о профессиональных союзах. Но в его неправоте была непреложная историческая правда воюющего марксизма, таранящий прямой ход коммунистической революции.

«Ленинцы» переспорили, ибо поняли и почувствовали, как облипает революцию непреодолимая гуща туго колеблемого быта, опасная вязкость жизни, сопротивление человеческой психологии, упругой косности и традиции. Надо было остановиться, опять передохнуть, опять перетерпеть похабный мир — уже не с немецкими генералами, а с внутренней непреодолимой мелкособственнической стихией. Опять уступить врагу в упорстве, чтобы выиграть у него во времени. Прикрепиться. Глубже и шире врасти корнями в землю, чтобы привычнее в ней сидеть. С Лениным восторжествовал интуитивный инстинкт самосохранения, кряжистая национальная приспособляемость к обстоятельствам, не раз счастливо оберегавшая социальную революцию в России. Мудрая, восточная полутаинственная кривая, которая выводит часто лучше, чем стремительная опасная прямая.

С Троцким была побеждена и задержана революционная динамика, выросшая за эти годы борьбы в разящую вихревую силу. Восхитительный напор локомотива истории (это о нем сказано) на покатых рельсах. Безудержная инерция ледокола, пробившегося через ледяные горы и осколки в открытое море. Безупречная фанатическая правда и искренность подпоясанного мечом, обагренного кровью, победившего учения.

Промедление — поражение.

Уступка — капитуляция.

Недаром с Троцким стояла самая активная, боевая, динамическая часть партии — военные коммунисты.

## 7

У Троцкого есть свой, редкостный вид опьянения, которым он умеет заражать других.

Опьянение трезвостью. Прозой. Буднями.

Только в них и через будни видит всегда Троцкий праздник революции.

Он любит и умеет впрыскивать себе и другим прививку трезвости в самые, казалось бы, трудные для этого моменты.

В разгар войны, когда Красная армия готовится пересилить четырнадцать государств, когда мобилизовано все вплоть до оперных баритонов и мозольных операторов. Троцкий окатывает холодной водой чрезмерно увлекающихся красных милитаристов из бывших генералов, утверждающих войну как основной человеческий закон.

В статье «Глубокомысленное пустословие»<sup>4</sup>, написанной где-то в боях, напоминает он, что война есть величайшее зло из всех мыслимых на земле, что война скоро исчезнет так же, как исчезла антропофагия, что у будущего человечества будет лишь одна война — борьба с враждебными силами природы.

На партийном митинге, разбирая внутренние фракционные требования, он мечтает о том времени, когда в коммунистической партии будут фракции «торфистов», «сланцистов», «нефтяников», «электрофикаторов» и «транспортников»<sup>5</sup>.

Когда победившая армия располагается на лаврах, он педантично требует внимания к мелочам: чистке сапог, аккуратно пришитым пуговицам<sup>6</sup>.

Впавших в академизм «красных генштабистов» он отрезвляет напоминанием, что нам нужны не гениальные полководцы, не особая пролетарская стратегия, а только хороший отделенный командир...

У нас принято называть Ленина мозгом, а Троцкого — руками революции. История поймет шире.

Она увидит в глубинах ленинской социальной мудрости трезвую крепкую прозу живого организатора, а в суровых деловых буднях Троцкого взлеты гениального возвышенного ума.

